

Туберовский А. М. Сладость бытия: (Против самоубийства) //
Богословский вестник 1913. Т. 1. № 3. С. 532–567 (4-я пагин.).
(Окончание.)



„Сладость бытія“.

(Противъ самоубійства).

(Окончаніе) *).

3. Адогматический типъ самоубийства.

Впечатлѣнія отъ самоубійства воспитавника семиваріи. Безъ догмата жизнь не возможна. Литературный примѣръ—Плотовскій—изъ романа Сенкевича „Безъ догмата“. Отцыы Ле-Дантека, Джемса и Толстого съзвѣности вѣры для жизни. Сладость вѣры святыхъ.

4. Романический типъ самоубийства.

Любовь—высшая цѣньность жизни. „Граiatовый Brasletъ“ Куприна. Самоубійство ве неизбѣжный исходъ несчастной любви. Сладость любви Божественной. „Человѣкъ который смеется“. Человѣкъ, который плачетъ“ Христіаńskie святые, какъ обладавшie счастьемъ любви Божественной Любовь человѣческая—образъ любви Божественной.

Эпилогъ: „Быть или не быть“? „Въ трамваѣ“ Куприна. „Страждущая любовь“.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Есть два типа самоубійствъ, въ субъективно-психологическомъ отношеніи наиболѣе интересныхъ—два типа, которые обвѣяны соблазнительной иллюзіей поэзіи, поскольку въ нихъ потеря вкуса къ жизни обусловливается не одностороннимъ растительно-животнымъ прозябаніемъ, а неудовлетвореніемъ двухъ иѣжнѣйшихъ запросовъ души, двухъ благородѣйшихъ ея потребностей: исканія смысла жизни и взаимной любви.

Эти два типа я намѣренно выдѣляю еще и потому, что на меня лично они произвели сильнѣйшее впечатлѣніе. Объ одномъ самоубійствѣ, съ романической подгладкой, я уже

*) Начало въ февр. кв. Богословскаго Вѣстника.

рассказывалъ. Къ этому типу я еще вернусь. А о другомъ, адогматическомъ самоубийствѣ буду говорить теперь.

3. Адогматический типъ самоубийства.

28 Августа 1908 г. по дорогѣ изъ Петербурга мнѣ пришлось прочитать въ одной изъ газетъ телеграмму изъ Калуги слѣдующаго содержанія: одинъ изъ воспитанниковъ духовной семинаріи, не выдержавъ экзамена, застрѣлился. Мой путь лежалъ какъ разъ въ Калугу. Пріѣхавъ сюда, я узнаю, что фактъ самоубийства совершился, но мотивировка его совсѣмъ иная. Въ прочитанной мною корреспонденціи сообщалось, что мотивомъ послужилъ провалъ на экзаменѣ, а здѣсь я узналъ: юноша, дѣйствительно, застрѣлился послѣ неудачно выдержаннаго экзамена. Но *post hoc* вообще незначить *propter hoc*. Оставленная самоубийцей записка содержала въ себѣ слѣдующее объясненіе: „я проанализировалъ всю свою жизнь и не нашелъ въ ней никакого смысла, изъ за которого стоило бы жить.“ Другими словами, онъ произвелъ самоэкзаменъ, самоиспытаніе, переоцѣнку всѣхъ цѣнностей и... провалился. Что касается до меня, то я второму объясненію повѣрилъ больше, чѣмъ первому. „Человѣкъ“, стрѣляющейся изъ за такихъ ничтожныхъ вещей, какъ двойка или единица, не достоинъ вѣдь этого царственного титула.

Очень можетъ быть, конечно, что неудача постигшая юношу на экзаменѣ, ускорила развязку, но не она создала трагедію его жизни, не она привела его къ роковому концу. Развѣ смерть Офелии была дѣйствительной причиной самоубийства Гамлете? Нѣтъ, вся печально-сложившаяся судьба принца, все его скептическое міросозерцаніе постепенно, шагъ за шагомъ, готовили его къ этой развязкѣ. И такое объясненіе, хотя въ высшей степени печальное, только и достойно человѣка, какъ человѣка. Вѣдь предъявлять къ жизни такія требованія, какъ исканіе въ ней смысла, т. е. оцѣнивать жизнь съ точки зрѣнія разума, можетъ только человѣкъ.

Правда мысль, отрѣшенная отъ вѣры, отъ догмата, какъ лодка, отвѣзанная отъ берега, мечется туда и сюда, пока не сдерживаемая никакимъ жизненнымъ принципомъ, не разобъется о самое себя. Мысль грызетъ тогда „стволь жизни“, по выражению одного издателя записокъ самоубийца.

Пусть человѣкъ и не найдетъ въ жизни никакого смысла, пусть въ резултатѣ такой оцѣнки и получится нуль, уже важень самъ по себѣ фактъ этого исканія, самая оцѣнка, запрося: важно именно потому, что есть существо, которое мыслить, которое разумно, которое не удовлетворяется одною жвачкой и похотью. Животное не можетъ убить себя, но оно и не разумно. И когда я читаю въ газетахъ о подобныхъ самоубийствахъ изъ-за видимой безсмыслицы жизни, я всегда нахожу въ нихъ тотъ именно смыслъ, что они лишній разъ запечатлѣваютъ собою разумность природы человѣка, подчеркиваютъ, хотя такъ и неудачно, бытіе въ немъ души, а не одной только плоти.

Телеграмму о самоубийствѣ семинариста прочелъ я, какъ выше замѣчено, 28 Августа 1908 года. Этотъ же день намъ памятенъ восьмидесятилѣтній юбилеемъ покойнаго графа Л. Н. Толстого, того самого Толстого, который тоже едва не лишилъ себя нѣкогда жизни по той же самой причинѣ. И въ этомъ совпаденіи я нашелъ для себя новый поводъ къ размышленію. Кто былъ этотъ юбиляръ, чествованіе котораго одни принимали, а другіе отвергали? Одни видѣть въ немъ преимущественно художника, великаго писателя земли русской, другіе мыслителя-моралиста и т. д. Но для меня Л. Н. Толстой прежде всего человѣкъ, жалный искатель смысла жизни. Отсюда получается такая параллель. Съ одной стороны искатель истины, и съ другой тоже. Это общее для нихъ. А различное: тамъ—незначительная фигура неизвестнаго почти никому семинариста, здѣсь—внушительная импонирующая сіятельность графа, всемирно-извѣстнаго писателя и мыслителя. Тамъ—почти безусый юноша, здѣсь—почтенный восьмидесятилѣтній старецъ, тамъ—преждевременно погибшая жизнь изъ-за необрѣтенія въ ней смысла, здѣсь—сравнительно покойнѣе существованіе, хотя и не безъ покушенія все-же на него со стороны самого искателя. Но и при такомъ различіи между обоими искателями истины въ отношеніи къ положенію, возрасту и обстоятельствамъ жизни, нельзя не видѣть въ нихъ двухъ родныхъ братьевъ, одной и той же разумной, хотя и не свободной отъ ошибокъ, человѣческой природы.

Горечь отрицанія, сомнѣнія, скепсиса, во что обращается иногда наша мысль, отравляя нашъ духовный организмъ, заглушаетъ чувство „сладости бытія“ и ведеть къ насильственному прекращенію безцѣльно-бесмысличного существованія. Жить безъ вѣры, положительной или отрицательной, безъ вѣры въ Бога или обезьяну, въ Иисуса или Маркса, безъ догмата бессмертія или потусторонняго ничто, мы такъ же не можемъ, какъ и безъ того, чтобы не думать о „вчера“ и „завтра“, о выигрышѣ или проигрышѣ за карточнымъ столомъ о „правой“ сторонѣ или „левой“, когда стоимъ на распутьї. Безъ догмата наша жизнь сдвигается съ устоя и падаетъ невозвратно въ бездну небытія.

Классический типъ такого адогматического самоуничтоженія, мы имѣемъ въ романѣ Сейкевича: **„Безъ догмата“**, въ лицѣ главнаго героя—Леонтия Плоповскаго.

Этотъ герой представляетъ собою довольно распространенный типъ „гения безъ портфеля“. Данный эпитетъ обозначаетъ человѣка, надѣленнаго отъ природы недюжинными способностями, но, вслѣдствіе общей хаотичности своего внутренняго міра, не посвятившаго себя ни одной специальности, не занявшаго въ обществѣ ни какого опредѣленнаго положенія. По данному себѣ самимъ Плоповскимъ опредѣленію, онъ былъ величиной *in productivit *, нѣчто въ родѣ безплодной смоковницы, потому что жилъ безъ догмата, такъ какъ не хотѣлъ вѣрить, ибо не умѣлъ хотѣть. Между тѣмъ жить безъ вѣры, цѣльной и всепоглощающей вѣры, съ постояннымъ скепсисомъ, неугомонной само-критикой, вмѣсто нея, такъ же мучительно, по сознанія самого скептика, „какъ птицѣ летать съ однимъ крыломъ“. Съ другой стороны, и въ моральномъ отношеніи герой адогматизма былъ человѣкомъ, хотя и порядочнымъ, но порядочнымъ настолько, насколько это было неизбѣжно по требованію привычекъ, среды и барского тона, въ которыхъ росъ и вращался Плоповскій.

Чѣмъ же онъ жилъ въ такомъ случаѣ? Исключительно игрою чувствъ, всегда капризной, измѣнчивой, не управляемой ничѣмъ, кроме слѣпого случая, подобно картамъ.

По капризу чувства Плоповскій отвергъ любимую и любившую его Анелю, а когда она вышла замужъ за Кромицкаго, онъ бѣсился и, переживалъ муки Тантала отъ близости

Анели, по винѣ его, принадлежавшей не ему, а пошлику Кромицкому.

Не защищенаго какимъ-либо догматомъ, общественнымъ или религіознымъ синтезомъ, Плошовскаго разъѣдастъ до мозга костей скептицизмъ. „Не знаю, не знаю, не знаю“—таковъ его девизъ.

Но здѣсь, по словомъ самого Плошовскаго, „въ этой сознательной немощи человѣческаго разума, заключается трагедія не говоря ужъ о томъ, что наша духовная природа всегда настоятельно требуетъ отвѣта на предъявленные вопросы, ибо въ этихъ вопросахъ заключается все реальное значеніе человѣка. Если на той сторонѣ есть что-то вѣчное, то всѣ несчастія и потери на этой сторонѣ сокращаются до нуля. Человѣкъ мечется въ этомъ великомъ незнаніи, чувствуя, что еслибъ онъ могъ перейти на какую-нибудь сторону, то ему стало бы легче и спокойнѣе. Противоположностью Плошовскому выступаетъ въ романѣ Снятинскій и сама Анеля. Первый исповѣдываетъ два догмата, которыхъ не касалась его критика: служеніе обществу и любовь къ достойной женщинѣ. „Съ этими“,— заявляетъ Снятинскій: „жизнь стоитъ что-нибудь, а безъ нихъ она—нуль“. Что же касается Анели, то она была религіозна и признавала долгъ вѣрности даже къ нелюбимому человѣку.

Сравнивая себя съ Анелій, Плошовскій восклицаетъ „въ концѣ-концовъ мы оба страшно несчастны. Но у тебя, Анеля, есть хоть какая-нибудь опора въ жизни, есть догматъ, а я точно лодка безъ кормы и весла... Знаю только одно: чья жизнь не укладывается въ тотъ простой кодексъ, [котораго] придерживается Анеля и подобные ей люди и чья душа выкипитъ изъ этого сосуда, тотъ долженъ смѣшаться съ прахомъ и грязью“. Плошовскій до того чувствуетъ себя отравленнымъ адогматизмомъ, что самъ признается: „говорять, люди, умирающіе отъ голода, за нѣсколько минутъ до смерти, уже не могутъ выносить пищи. Точно также и мой духовный организмъ не можетъ выносить доброты и утѣшений. Не могу также выносить и воспоминаній“. Исковеркавъ свою и чужую жизнь, Плошовскій въ послѣднія минуты жизни Анели, когда, какъ и при всякой смерти, душа переживаетъ состояніе какого-то прозрѣнія, сказалъ: „я могъ бы быть твоимъ счастьемъ, а сталъ несчастьемъ. Это я—при-

чина твоей смерти, такъ какъ, еслибы я былъ другимъ че-
ловѣкомъ, еслибы у меня не было недостатка въ жизнен-
ныхъ основахъ, то на тебя не обрушились бы тѣ потрясенія,
которыя убили тебя. Это я понялъ во время послѣднихъ
минутъ твоей жизни,—понялъ и поклялся идти за тобой...
Если ты умерла вслѣдствіе моего „не знаю“, то какъ же я
могу оставаться здѣсь жить?“

Такъ неразрывно связаны между собою докладъ и жизнь,
жизнь и докладъ, и этотъ синтезъ ихъ настолько прочень,
нераздѣлимъ, что, если бы мы спросили:

— Чѣмъ же грозить жизнь безъ доклада?—

сама жизнь и ея дубликатъ, литература, отвѣчаютъ намъ:

— Смертью!

Докладъ вообще есть, такимъ образомъ, необходимый эле-
ментъ, логической поступать жизни.

Вопросъ вѣры и невѣрія доклада и скептика не есть только
вопросъ истины и лжи, а прежде всего жизни и смерти,
полноты и скучности, а отсюда сладости и безвкусія, если не
горечи, существованія. Это признаютъ даже два такихъ по-
зитивиста по складу своего научнаго мышленія, какъ проф.
Ле-Дантекъ и Джемсъ, одинъ знаменитый біологъ, другой
еще болѣе знаменитый психологъ, первый, по собственной
откровенной исповѣди, атеистъ, другой мистикъ по вѣрѣ.

Вотъ, что говорить **Ле-Дантекъ** въ своемъ „Атеизмѣ“—со-
чиненіи, излагающемъ иррелигіозное credo автора. „Если нѣть
Бога, справедливость есть не болѣе, какъ наслѣдіе предковъ,
какъ и доброта, какъ и логика“, т.-е. все условно, абсолют-
наго нѣть ничего. Правда совѣсть не обязательна для ате-
иста, потому что, какъ и все, она наслѣдствена, но безъ
совѣсти даже и атеистъ представлялъ бы собою типъ ужъ
слишкомъ патологическій и уродливый. „Я утверждаю, за-
ключаетъ Ле-Дантекъ, что общество логическихъ послѣдов-
ательныхъ атеистовъ невозможно, потому что даже приз-
навая заблужденіемъ понятіе абсолютной отвѣтственности,
это понятіе все же остается заблужденіемъ соціально необ-
ходимымъ. Наоборотъ, общество атеистовъ, обладающихъ со-
вѣстью, представляется мнѣ вполнѣ возможнымъ, но на
условіи, чтобы они не разсуждали и безъ обсужденія при-
нимали бы даннага ихъ совѣсти“. Это—выводы соціального

характера, а личного, индивидуального еще тяжеле. Последовательный атеистъ не можетъ долго жить, онъ неизбѣжно приходитъ къ самоубіству по невыносимой тяжести своихъ страданій Ле-Дантекъ сознается, что не разъ и онъ самъ покушался утопится, но каждый разъ его спасала какая-нибудь непослѣдовательность: жалость къ семье или что-нибудь другое въ томъ же родѣ. „Смерть, это-тріумфъ невѣрія!“ восклицаетъ авторъ „Атеизма“. Атеистъ не боится смерти, потому что онъ не вѣрить ни въ бессмертіе, ни въ судь. Однако, онъ чувствителенъ къ страданіямъ и хуже вѣрующаго вооруженъ къ перенесенію ихъ. Не застрахованъ онъ и отъ унаслѣдованныхъ, подобно совѣсти, страховъ предъ неизвѣстнымъ будущимъ. „Ни цѣли, ни желанія, ни интересовъ“,—такова психологія невѣрія. „Истина, раскрываемая невѣріемъ, есть ужасъ наводящая истину, обезцѣнивающая жизнь и смѣняющая кажду существованія желаніемъ положить конецъ не зависящему отъ нась безсмысленному и безцѣльному процессу“.*)

Послушаемъ теперь, что скажетъ другой упомянутый учёный **В. Джемсъ**.

„Религія,—говорить онъ въ своей книгѣ: „Многообразіе религіознаго опыта“,—придаетъ жизни оттенокъ очарованія, который не можетъ быть выведенъ рациональнымъ или логическимъ путемъ ни изъ чего другого.... Когда жизненная борьба кончается пораженіемъ, и все рушится вокругъ нась, это чувство возвращаетъ къ жизни нашъ внутренній міръ, который безъ этого оставался бы бежизненной пустыней.... Религія дѣлаетъ для человѣка легкимъ и радостнымъ то, что при другихъ обстоятельствахъ для него является игомъ суровой необходимости. Если религія единственная сила, способная выполнить эту задачу, то цѣнность ея, какъ проявленія человѣческаго духа, стоитъ вѣдь всякихъ сомнѣній. Она получаетъ значеніе такого органа нашей душевной жизни, который выполняетъ функции, которыхъ никакая другая сторона нашей природы не можетъ выполнить съ такимъ же успѣхомъ. Съ чисто біологической

*) По статьѣ Вл. А. Кожевникова: „Исповѣдь атеиста“. (Христ. Чтеніе 1909 г. май).

точки зрења это необходимое заключеніе, къ которому мы неминуемо должны были прийти“ *) Такимъ образомъ, религіозная вѣра оказывается въ нашей жизни противоядіемъ, благодаря которому можно спасти себя отъ разочарованія, отъ горечи скептизма, это—въ полномъ значеніи слова панацея отъ всѣхъ жизненныхъ золъ. „Всѣ изслѣдователи согласны въ томъ, что религія крѣпче всего привязываетъ человѣка къ жизни“ (Ив. В. Поповъ. Самоубійство), такъ какъ у нея для этого имѣются наиболѣе могущественные средства: идея бессмертія и загробнаго воздаянія, также утѣшительная вѣра въ благой Промыслъ Небеснаго Отца. Религія, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ ежедневный опытъ вѣрующихъ людей, углубляетъ чувство жизни и самопроизвольное лишеніе себя ея становится стольже психологически труднымъ, даже невозможнымъ дѣломъ, какъ исторженіе глубоко ушедшаго корнями въ землю дерева.

Насколько религіозный догматъ спасителенъ для жизни, показываетъ, между прочимъ, примѣръ **Л. Н. Толстого**. Примѣръ этотъ въ особенности тѣмъ и поучителенъ, что онъ показанъ человѣкомъ, отрицавшимъ и глумившимся надъ догматомъ Церкви, тогда какъ самъ былъ спасенъ именно догматомъ.

Какъ известно, въ началѣ 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія Толстой переживалъ тяжелый кризисъ гамлетовскаго „быть или не быть“.

Вотъ что говорить самъ о себѣ Л. Н. въ своей „Исповѣди“.

„Жизнь моя остановилась... Непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ нибудь избавится отъ жизни... И вотъ тогда я, счастливый человѣкъ, пряталъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься на перекладинѣ между шкафами въ своей комнатѣ, гдѣ я каждый вечеръ бывалъ одинъ раздѣваясь и переста旆 ходить съ ружьемъ на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни.

„Вопросъ мой тотъ, который въ пятьдесятъ лѣтъ привелъ меня къ самоубійству, былъ самый простой вопросъ,

*) В. Джемсъ. Многообразіе религіознаго опыта. Переводъ подъ ред. Лурье. Изд. „Русской Мысли“ Москва. 1910. стр. 42, 45—46.

лежащій на душѣ каждого человѣка, отъ глупаго ребенка до мудрѣйшаго старца, тотъ вопросъ, безъ котораго жизнь невозможна, какъ я это испыталъ на дѣлѣ“. Это вопросъ: „есть ли въ моей жизни такой смыслъ, который не уничтожился бы неизбѣжной, предстоящей мнѣ смертью?“

„И я искалъ объясненія на мои вопросы во всѣхъ тѣхъ знаніяхъ, которыхъ пріобрѣли люди. И я мучительно и долго искалъ и не изъ празднаго любопытства, не вяло искалъ, но искалъ мучительно, упорно, дни и ночи,—искалъ, какъ ищетъ погибающій человѣкъ спасенья,—и ничего не нашелъ.

„Я искалъ во всѣхъ знаніяхъ и не только не нашелъ, но убѣдился, что все тѣ, которые такъ же, какъ и я, искали въ знаніи, точно такъ же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что привело меня въ отчаяніе—безсмыслица жизни есть единственное несомнѣнное знаніе, доступное человѣку...

„Во все время этого года, когда я почти всякую минуту спрашивалъ себя: не кончить ли петлей или пулей,—во все это время, рядомъ съ тѣми ходами мыслей и наблюдений, о которыхъ я говорю, сердце мое томилось мучительнымъ чувствомъ. Чувство это я не могу назвать иначе, какъ исканіемъ Бога....

„Помню, говорить Толстой, это было ранней весной, я одинъ былъ въ лѣсу, прислушиваясь къ звукамъ лѣса. Я прислушивался и думалъ все объ одномъ, какъ я постоянно думалъ все объ одномъ и томъ послѣдніе три года. Я опять искалъ Бога...

„Но понятіе мое о Богѣ, понятіе-то это откуда взялось? И... при этой мысли во мнѣ поднялись радостныя волны жизни. Все вокругъ меня ожило, получило смыслъ... Такъ чего же я ищу еще? воскликнулъ во мнѣ голосъ. Такъ вотъ Онъ. Онъ есть то, безъ чего нельзѧ жить. Знать Бога и жить—одно и то же. Богъ есть жизнь.

„...И сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, все освѣтилось во мнѣ и вокругъ меня, и свѣтъ этотъ уже не покидалъ меня...

„И я спасся отъ самоубійства... И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мнѣ, была не новая, а самая старая, та самая, которая влекла меня на первыхъ порахъ моей жизни.

„Я вернулся во всемъ къ самому прежнему, дѣтскому и юношескому... Я вернулся къ вѣрѣ въ Бога, въ нравственное совершенствованіе и въ преданіе, передавшее смыслъ жизни... И такъ какъ сила жизни возобновилась во мнѣ, и я опять началъ жить“...

Отсюда Толстой дѣлаетъ слѣдующій многознаменательный для насъ выводъ: „гдѣ жизнь, тамъ и вѣра; съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ человѣчество, существуетъ и вѣра, которая даетъ возможность жить, и главныя черты вѣры вездѣ и всегда одинъ и тѣ же... Вѣра есть знаніе смысла человѣческой жизни, вслѣдствіе котораго человѣкъ не уничтожаетъ себя, а живеть. Вѣра есть сила жизни. Если человѣкъ живеть, то онъ бо что-нибудь вѣрить. Если бы онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо жить, то онъ бы не жилъ. Понятіе безконечнаго Бога, божественности души, связи дѣлъ людскихъ съ Богомъ, единства, сущности души, понятія нравственнаго добра и зла суть понятія, безъ которыхъ не было бы жизни и меня самого“. Такъ, Толстой догматомъ вѣры спась себя отъ самоубійства и вернуль себѣ здоровое ощущеніе „сладости бытія“.

Лишь подъ условіемъ вѣры становится для насъ яснымъ смыслъ міробытія, явно—тайна жизни, свѣтлымъ—мракъ исторіи. И, понявъ міръ и собственную жизнь изъ вѣры, не отрицая при этомъ, конечно, безспорныхъ данныхъ науки, мы примиряемся съ жизнью и спокойно продолжаемъ свой путь въ обѣтованную землю блаженства. Намъ предлагаютъ вѣрить въ человѣка, въ добро и другія цѣнности, чтобы совмѣстную жизнь сдѣлать болѣе человѣчной, счастливой; точно также должны мы вѣрить и въ Бога, какъ Вышнее Существо и Благо, чтобы имѣть жизнь болѣе цѣнной и сладостной. Кто изъ насъ не хотѣлъ бы вернуть свое золотое дѣтство съ его свѣтлою радостью жизни, не отрекаясь, конечно, отъ своего настоящаго положительного содержанія? Единственнымъ средствомъ для этого опять является вѣра, преобразующая взрослыхъ въ дѣтей и вводящая ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми въ чертоги царства небеснаго. И если Ле-Дантекъ, Джемсъ, Толстой,—люди не православнаго образа мыслей, даже, какъ одинъ изъ нихъ, атеисты, признаютъ эту сладость вѣры, то что сказать о святыхъ нашей Церкви: Сергіи, Серафимъ,

Антоніи, Феодосіи и т. д., объ этихъ свѣточахъ вѣры по преимуществу, этихъ малюткахъ въ мірѣ земномъ и великанахъ въ Царствѣ Божіемъ? Не оттого ли имъ жизнь, не смотря на всѣ тягости и невзгоды, казалась такой легкой и сладкой, не оттого ли такъ радостно несли они крестъ на своихъ бодрыхъ, хотя часто и согбенныхъ, плечахъ, что вѣра „спасе“ ихъ и пили они въ „мирѣ“? И эта сладость ихъ вѣры, ароматъ ихъ святого „житія“, подобно душистому меду, разлиты по страницамъ ихъ дивныхъ писаній.

4. Романический типъ самоубийства.

Другой, романнический, типъ самоубийства возникаетъ на почвѣ не умственного разочарованія въ жизни, но сердечнаго. Высшей опоэтизированности этотъ типъ достигаетъ лишь въ томъ случаѣ, когда въ жизни самоубійцы отсутствуетъ грубый романъ со всѣми его тяжкими и въ то же время ионными послѣдовательностями, когда не ревность или измѣна, не стыдъ или страхъ толкаютъ человѣка на самоубийство, но сама любовь, царица жизни, становится виновницей смерти.

Психологія самоубийства въ послѣднемъ случаѣ такова. Любовь есть жажда внутренняго объединенія съ идеаломъ, сладостнаго слиянія одной души съ другою, потребность настроить свою жизненную арфу на всѣ высокія и низкія гаммы, расцвѣтить свою жизнь всѣми цветами радуги. Сердце, чувствующее любовь, переживаетъ максимум блаженства. Оно въполномъ смыслѣ является тогда средоточіемъ жизни, солнцемъ всего внутренняго міра человѣка. И вотъ—представьте себѣ—это сердце, фокусъ жизни, поражено, насквозь пробито гранатой отчаянія. На его нѣжную, способную на всѣ жертвы, безконечную любовь отвѣчаютъ равнодушіемъ, иногда насмѣшкой, убийственной измѣной. Этотъ единственный инструментъ, на которомъ играетъ сама любовь пѣсню вѣчности, разбить вдребезги. Свѣтъ жизни погасъ. Спектръ радужнаго счастья померкъ навсегда. Свѣтилище опустошено... Вместо блаженства удѣломъ стала максимум страданія. И при этомъ еще чувство полнаго безсилія, чѣмъ-нибудь помочь себѣ, такъ какъ и Архимедовъ рычагъ, способный перевернуть всю землю, не въ состояніи повернуть такой маленькой шарикъ, какъ сердце, въ ту или другую сторону. Какой смыслъ послѣ этого жить — спрашиваетъ тогда себя человѣкъ, и отвѣчаетъ:

„Даръ напрасный, даръ случайный“.

Наилучшій примѣръ влюблennаго самоубійцы представляеть Желтковъ изъ разсказа Куприна: „Гранатовый браслетъ“.

Сердце чиновника Желткова „Богъ поразилъ“ по выраженію Гамсуну, любовью къ княгинѣ Вѣрѣ Николаевнѣ Шеиной. Коллежскій регистраторъ и ея сіятельство—что тутъ общаго? Но для серьезной человѣческой любви что могутъ значить подобныя условности?

Въ день именинъ княгини Желтковъ присласть ей отъ себя подарокъ: небольшой ювелирный футляръ изъ краснаго плюша, заключавшій въ себѣ золотой браслетъ съ ярко-красными гранатами-кабошонами. Вмѣстѣ съ браслетомъ княгиня нашла въ футлярѣ записку.

„Ваше Сіятельство,

Глубокоуважаемая Княгиня

Вѣра Николаевна!

„Почтительно поздравляя Васъ съ свѣтлымъ и радостнымъ днемъ Вашего Ангела, я осмѣливаюсь препроводить Вамъ свое скромное подношеніе“.

„Ахъ, это—тотъ!“—съ неудовольствіемъ подумала Вѣра, но все-таки дочитала письмо.

Передавъ далѣе исторію своего подарка, бывшаго фамильной драгоцѣнностью, Желтковъ продолжалъ:

„Вы можете сейчасъ же выбросить эту смѣшную игрушку, или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастливъ и тѣмъ, что къ ней прикасались Ваши руки“.

„Умоляю Васъ не гнѣваться на меня. Я красною при воспоминаніи о моей дерзости, семь лѣтъ тому назадъ, когда Вамъ, барышнѣ, я осмѣливался писать глупыя и дикія письма и даже ожидать отвѣта на нихъ. Теперь во мнѣ осталось только благоговѣніе, вѣчное преклоненіе и рабская преданность. Я умѣю теперь только желать ежеминутно Вамъ счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьямъ, которыя Вы мимоходомъ трогаете, прислугѣ, съ которой Вы говорите“ и т. д.

Раздумывая надъ тѣмъ,—показывать мужу или нѣть присланный подарокъ, Вѣра Николаевна боится лишь того.

что не только „этотъ несчастный будеть смѣшонъ“, но и она вмѣстѣ съ нимъ. И опасенія эти имѣли основаніе. Князь Василій Львовичъ Шеинъ давно зналъ объ этомъ обожаніи своей жены мелкимъ чиновникомъ и какъ разъ именно сегодня потѣшалъ гостей между другими юмористическими рассказами и картинками, на которые онъ былъ весьма талантливъ, повѣстю: „Княгиня Вѣра и влюбленный телеграфистъ“.

— „Начало относится къ временамъ доисторическимъ“—повѣствовалъ князь. „Въ одинъ прекрасный майскій день одна дѣвица, по имени Вѣра, получаетъ по почтѣ письмо съ цѣлующимися голубками на заголовкѣ...

„Письмо содержить въ себѣ пылкое признаніе въ любви, написанное вопреки всѣмъ правиламъ орѳографіи. ... Въ концѣ скромная подпись: „по роду оружія я бѣдный телеграфистъ, но чувства мои достойны милорда Георга“.

„Проходитъ полгода. Въ вихрѣ жизненнаго вальса, Вѣра забываетъ своего поклонника и выходитъ замужъ за красиваго молодого Васю, но телеграфистъ не забываетъ ея. Вотъ онъ переодѣвается трубочистомъ и, вымазавшись сажей, проникаетъ въ будуаръ княгини Вѣры. Слѣды пяти пальцевъ и двухъ губъ остались... повсюду: на коврахъ, на подушкахъ, на обояхъ и даже на паркетѣ“.

Далѣе слѣдуютъ новыя превращенія. „Наконецъ онъ умираетъ, но передъ смертью завѣщаетъ передать Вѣрѣ двѣ телографныя пуговицы и флаконъ отъ духовъ, наполненный его слезами“.

Такую комическую исторію сочинилъ князь Василій Львовичъ. Не такъ посмотрѣль на дѣло „дѣдушка“, генераль Аносовъ, „тучный, высокий, серебряный старецъ“, къ которому сами Радецкій и Скобелевъ относились съ исключительнымъ уваженіемъ. Узнавъ отъ Вѣры Николаевны, въ чемъ дѣло,—какъ неизвѣстный маленький чиновникъ началъ преслѣдоватъ ее своею любовью, еще за два года до ея замужества,—Аносовъ сказалъ ей:

— „Можетъ быть, это просто ненормальный малый, маниакъ, а—почемъ знать?—можетъ быть, твой жизненный путь, Вѣрочка, пересѣкла именно такая любовь, о которой грезятъ женщины и на которую болѣе не способны мужчины“.

Справедливымъ оказалось второе предположеніе. Вѣра

разсказала мужу о подаркѣ. Началось совѣщаніе,—какъ прекратить подобныя выходки,—въ которомъ приняли участіе: князь, сама Вѣра и ея братъ. Особенно горячился послѣдній. Онъ хотѣлъ жаловаться губернатору, жандармскому полковнику и т. д., а когда Вѣра выразила жалость къ этому несчастному, онъ рѣзко замѣтилъ:

— „Жалѣть его нечего. Если бы такую выходку съ браслетомъ и письмомъ позволилъ себѣ человѣкъ нашего круга, то князь Василій послалъ бы ему вызовъ. А если бы онъ этого не сдѣлалъ,—то сдѣлалъ бы я. А въ прежнее время я бы просто велѣлъ отвести его на конюшню и наказать розгами“.

Вместо всѣхъ жалобъ и преслѣдованій, и князь, и его шуринъ почли, однако, лучшимъ объясниться съ Желтовымъ лично. Найдя его въ убогой обстановкѣ, ютившимся чуть не на чердакѣ, они вернули ему гранатовый браслетъ и приступили къ объясненію, причемъ по-прежнему кипятился Николай Николаевичъ. Желтовъ признался во всемъ и, между прочимъ, заявилъ князю:

— „Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лѣтъ безнадежной и вѣжливой любви даютъ мнѣ право на это... Я знаю, что не въ силахъ разлюбить ее никогда... Скажите, князь... скажите,—что бы вы сдѣлали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня въ другой городъ, какъ сказалъ Николай Николаевичъ? Все равно и тамъ такъ же я буду любить Вѣру Николаевну, какъ здѣсь. Заключить меня въ темницу? Но и тамъ я найду способъ дать ей знать о моемъ существованіи. Остается только одно—смерть“. Затѣмъ, Желтовъ попросилъ у князя позвolenія переговорить съ Вѣрой Николаевной по телефону: „могно ли мнѣ остаться въ городѣ, чтобы хотя изрѣдка ее видѣть, конечно, не показываясь ей на глаза“. Князь, болѣе снисходительный, нежели шуринъ и своимъ добрымъ сердцемъ почувствовавшій, что онъ присутствуетъ при какой-то громадной трагедіи души,—разрѣшилъ ему сдѣлать это. Но княгиня Вѣра Николаевна не захотѣла говорить съ Желтовымъ. Она только отвѣтила: „Ахъ, если бы вы знали, какъ мнѣ надоѣла вся эта исторія. Пожалуйста, прекратите ее какъ можно скорѣе“.

На другой день княгиня Вѣра Николаевна прочла въ га-

зеть о самоубийствѣ чиновника Контрольной палаты Желткова, мотивированномъ растратою казенныхъ денегъ. Это ее ужасно разстроило. Она не знала, что это было: любовь или сумасшествіе. Но слова Аносова: „почемъ знать, можетъ быть, твой жизненный путь, пересѣкла настоящая, самоотверженная, истинная любовь“ не выходили у нея изъ ума.

„Въ 6 часовъ пришелъ почтальонъ и подалъ ей письмо отъ несуществовавшаго уже въ живыхъ Желткова“.

Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этого длиннаго и нѣжнаго письма.

„Я не виновать, Вѣра Николаевна, что Богу было угодно послать мнѣ, какъ громадное счастье, любовь къ Вамъ... для меня вся жизнь заключается только въ Васъ. Я теперь чувствую, что какимъ-то неудобнымъ клиномъ врѣзался въ Вашу жизнь. Если можете, прощите меня за это... Я безконечно благодаренъ Вамъ только за то, что Вы существуете. Я провѣрялъ себя— это не болѣзнь, не маніакальная идея—это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я былъ смѣшонъ въ Вашихъ глазахъ и въ глазахъ Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я въ восторгѣ говорю: „Да святится имя Твое“. Восемь лѣтъ тому назадъ я увидѣлъ Васъ въ циркѣ въ ложѣ, и тогда же въ первую секунду я сказалъ себѣ: я ее люблю потому, что на свѣтѣ нѣть ничего похожаго на нее, нѣть ничего лучше, нѣть ни звѣря, ни растенія, ни звѣзды, ни человѣка прекраснѣе Васъ и нѣжнѣе. Въ Васъ какъ будто воплотилась вся красота земли... Я не знаю, какъ мнѣ кончить письмо. Отъ глубины души благодарю Васъ за то, что Вы были моей единственной радостью въ жизни, единственнымъ утѣшеніемъ, единой мыслью. Дай Богъ Вамъ счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожить Вашу прекрасную душу. Цѣлую Ваши руки“...

Княгиня поѣхала въ городъ (они жили на дачѣ) посмотретьъ на покойника.

Хозяйка стала говорить ей про Желткова:

— „Если бы вы знали, что это былъ за чудный человѣкъ, пани. Восемь лѣтъ я его держала на квартире, и онъ казался мнѣ совсѣмъ не квартирантомъ, а роднымъ сыномъ“.

— „Расскажите мнѣ что-нибудь о послѣднихъ минутахъ его жизни, о томъ, что онъ дѣлалъ и что говорилъ“, — попросила княгиня.

Хозяйка, между прочимъ, сообщала княгинѣ, какъ Желтковъ попросилъ ее повѣсить на икону Матери Божией возвращенный ему браслетъ.

Когда Вѣра Николаевна вошла въ бывшую комнату Желткова, она увидѣла въ гробу покойника съ такимъ умировореннымъ выраженіемъ лица, какое раньше она наблюдала на маскахъ великихъ страдальцевъ — Пушкина и Наполеона.

Оставшись одна безъ хозяйки, княгиня Шеина „вынула изъ маленькаго бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немнога вверхъ лѣвой рукой голову трупа и правой рукой положила ему подъ шею цвѣтокъ. Въ эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтаетъ каждая женщина, прошла мимо нея“, та „большая любовь, которая повторяется только одинъ разъ въ тысячу лѣтъ“. *)

*) *Примѣчаніе.* Нижеприводимая вырѣзка изъ газеты весьма характерна, какъ по количеству лишившихъ себя жизни и покушавшихся на это людей, такъ особенно и по первому самоубийству романического, „желтковскаго“ типа.

„Вчера на М. Бронной подняли хорошо одѣтую дѣвушку и въ безсоозательномъ состояніи отвезли во 2-ю городскую больницу, гдѣ, не приходя въ себя, больная скончалась. Врачи констатировали отравленіе уксусной эссенціей. При умершей оказалась записка, по которой удалось установить ея личность: М. П. Степанова, фабрічная работница шустовского водочного завода.

„Степанова занимала комнату въ д. № 26, по М. Бронной улицѣ. Среди своихъ товарокъ она слыла очень развитой дѣвушкой, такъ какъ удѣляла много времени чтенію.

„Причины самоубийства Степанова изложила въ оставленномъ стихотвореніи:

Зачѣмъ тебя я увидала,
Зачѣмъ плѣнилась я тобой?
О чемъ я раньше разсуждала,
Что ты не можешь быть со мной?
Теперь ужъ поздно,—я влюбилась.
Влюбилась страстно я въ тебя!
Напрасно плахала, молиласъ,
Но не могла забыть тебя.
Прощай, прости и не суди.

„Нѣсколько времени назадъ она познакомилась съ регентомъ одного

На Желтковъ я такъ долго остановился съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы показать всю серьезность и видимую поэзию самоубийства этого типа. Серьезность здѣсь прямо пропорциональна силѣ чувства, а поэтичность его красотѣ. И я лично считаю счастливымъ и преклоняюсь передъ тѣмъ, кто подобнымъ образомъ можетъ любить женщину. Но мнѣ не пріятенъ конецъ этой любви. Не слѣдуетъ думать прежде всего, что такой конецъ неизбѣженъ, что барьеръ этотъ настолько высокъ, что его нельзя перескочить и остаться въ живыхъ, что за неудовлетвореніемъ этого чувства уже на вѣкъ потеряна „сладость бытія“. Что конецъ этотъ, вообще говоря, неизбѣженъ, видно на примѣрѣ Викторіи, изъ повѣсти Кнута Гамсунна того же имени,—Викторіи, любив-

большого хора. Вскрѣ они полюбили другъ-друга. Однако, на пути къ взаимному сближенію оказалось препятствіе: она женатъ и имѣть дѣтей. Для Степановой это было страшнымъ ударомъ.

„Она—питомица Боспитательного дома и много времени отдала обычной у этикъ людей болѣзни—поискамъ своихъ родителей. Отчаявшись въ томъ, она стала упорно стремиться къ созданію своей семьи. Завѣтной мечтѣ не суждено было осуществиться, и она рѣшила умереть.

„Въ одиои изъ записокъ, найденныхъ послѣ смерти Степановой, на клочкѣ бумаги можно прочесть, повидимому, недавно написанный библейскій стихъ изъ „Пѣсни пѣсней“: „Положи меня, какъ печать на сердце твое, какъ перстень на руку твою, ибо сильна, какъ смерть, любовь“...

„Покойной 21 годъ.

„Въ д. Григорьевъ, на 6-мъ проѣздѣ Нового шоссе, въ Марьиной Рощѣ, застрѣлился 17-лѣтній сынъ домовладѣльца И. И. Григорьевъ.

„Личн. поч. гражд. М. А. Цвѣтковъ, 48-ми лѣтъ, повѣсился въ своей квартирѣ, въ д. Страховыхъ, по Никольскому пер., на Пречистенкѣ.

„Въ д. Пахомова, въ Усачевскомъ пер., повѣсился мѣщ. А. Асанасьевъ, 51 года.

„Во дворѣ Николаевскаго вокзала отравился уксусной эссенціей кр. В. А. Творыксаниковъ. Доставленный въ Старо-Екатерининскую больницу, Творыксаниковъ умеръ.

„Вчера, ночью, на Срѣтенскомъ бульварѣ зарѣзался ножомъ кр. Кузнеццовъ, 18-ти л. При покойномъ оказалась записка, съ обычной просьбой—въ смерти никого не винить.

„Въ д. Кононовой, по Майеровскому проѣзду, 18-лѣтнай сынъ домовладѣлицы, покушаясь на самоубийство, выпилъ нашатырного спирта.

„Въ ночь на 29-е ноября на Кожевниковъ бульварѣ дворянинъ Л. А. Талановъ, 21-го года, выстрѣломъ изъ револьвера, нанесъ себѣ рану ниже сердца.

„Служащій въ булочной Филиппова, на Тверской, кр. Андрей Кусковъ и т. д..

И все это въ одинъ день и въ одной Москвѣ!

шней Іоганнеса не меньше Желткова и, однако, не убившей себя, а давшей себѣ естественно сгорѣть въ огнѣ своихъ чувствъ.

Но этого мало. Конечно, только сердцемъ мы можемъ чувствовать „сладость бытия“, высшая мѣра которой дана намъ въ любви. Совершенно вѣрно, что наше сердце какъ бы сотворено для любви, и притомъ не одинокой любви, а взаимной. Но вѣдь нельзя же произвольно ограничивать потребность и способность нашей души къ безконечной любви однимъ временными, конечными объектомъ. Пусть святилище нашей души будетъ опустошено, пусть наша сильная, прекрасная, но человѣческая любовь останется безъ отвѣта. Вѣдь за порогомъ, за внутренней завѣсой этого святилища человѣческой любви лежитъ еще „святое-святыхъ“ любви божественной, куда нашъ, жаждущій преклоненія, духъ самъ собою рвется, какъ къ своей послѣдней цѣли, какъ къ наивысшей святыни, чтобы здѣсь у подножія трона Бога-Любви излиться въ сладостныхъ слезахъ восторга и растаять отъ прикосновенія, отъ объятій Всеблаженнаго. И отсюда уже нась никто не выгонить, такой любви некому оттолкнуть, некому осмеять; она будетъ взаимна, она будетъ раздѣлена Самимъ Богомъ и на всю вѣчность. За спектромъ семи цветовъ радуги лежать новые спектры лучей ультрофioletовыхъ и инфракрасныхъ, уловляемыхъ, впрочемъ, не простымъ глазомъ, а особыми аппаратами. Такъ, за предѣлами любви человѣческой лежитъ безконечная область любви божественной, доступной сердцу праведниковъ. Пусть судьба разобьетъ нашу земную арфу, сломаетъ наше человѣческое счастье, мы *не скнемъ* изъ-за этого убивать себя: въ нась еще остается несокрушимый никакимъ ударомъ божественный органъ, своими небесными сладкими звуками заглушающей „скучныя пѣсни земли“; намъ остается еще, если мы имѣемъ вѣру (здѣсь-то она и является всю свою спасительность), надежда вступить въ царство новой высшей любви, въ царство сверхъ—человѣческаго блаженства.

Носителями такой, божественной любви являются все христианскіе святые и особенно великие изъ нихъ, такъ какъ и между святыми, какъ звѣздами, есть разница въ силѣ блеска. Правда, вибрность ихъ по большей части малопривлекательна. Ихъ чайце можно встрѣтить въ пустыняхъ, нежели

въ столицахъ; въ пещерахъ, чѣмъ во дворцахъ. Одѣты они въ рубища, а не въ пурпуръ, обуты въ сандаліи, а не шелковые чулки. Пища ихъ—хлѣбъ, а не устрицы, питье—вода, а не шампанское. Лица ихъ блѣдны, а не нарумянены, изъ устья ихъ слышатся вздохи, а не взрывы оглушительного хохота. Но—что изъ этого? Вѣдь мы говоримъ о сладости любви, а не о сытости желудка. Желтокъ былъ ничтожнымъ чиновникомъ, но чувствовалъ себя счастливѣе князя. Кто-то сказалъ: я хотѣлъ бы быть лучше несчастнымъ геніемъ, чѣмъ счастливымъ дуракомъ^{*)}). То же самое можно сказать и о любви. Если ужъ необходимъ выборъ: то лучше быть нищимъ и любить, чѣмъ миллиардеромъ и не знать любви. Лучше жить съ обворованымъ карманомъ, чѣмъ съ обокраденнымъ сердцемъ.

Викторъ Гюго далъ намъ портретъ „Человѣка, который смеется“. Подвижникъ наоборотъ, являетъ собою типъ „человѣка, который плачетъ“. „Человѣкъ, который смеется“, это не уникъ, а—очень распространенный типъ. Его можно встрѣтить всюду: въ семье, между товарищами, во всякомъ домѣ и на каждой улицѣ. Онъ весель, жизнерадостенъ, веселитъ, какъ сорока, скачетъ, какъ бѣлка; общителенъ, дѣловитъ, много кушаетъ, не страдаетъ безсонницей. И вдругъ, вы узнаете: этотъ весельчакъ отравился или бросился подъ поѣздъ. Всѣ удивляются: такой жизнерадостный и какой печальный конецъ! Но вѣдь онъ же былъ „человѣкъ, который смеется“. Его внешность была маской. Въ то время, когда онъ разсказывалъ вамъ смѣшные анекдоты, онъ держалъ въ карманѣ пузырекъ съ ртутью. Когда онъ вамъ пѣлъ залихватскія пѣсни, его сердце грызла тоска, насквозь прокалывала игла сомнѣнія. Внутри онъ былъ „человѣкъ, который плачетъ“.

Всмотритесь теперь въ человѣка, „который плачетъ“, и Вы найдете; что въ душѣ онъ — „человѣкъ, который смеется“. Примѣромъ можетъ служить † оптинской старецъ Амвросій. Всю почти свою долгую жизнь онъ проболѣлъ, жилъ въ тѣсной кельѣ, кушалъ, какъ ребенокъ, не имѣлъ

^{*)} „Одинъ златолюбецъ гдѣ-то сказалъ: „желаю тебѣ лучше каплю счастья, нежели бочку ума“. Но мудрецъ возразилъ ему: „для меня лучше капля ума, нежели море счастья“. (Св. Григорій Богословъ. „Счастіе благоразуміе“).

отдыха отъ посѣтителей. Но внѣшнему облику жизни онъ „плакалъ“. Но чистая душа его, отъ полноты божественной любви, была радостной, смѣющеся, и эта радость часто проливалась наружу въ очаровательныхъ улыбкахъ, въ полныхъ остроумія рѣчахъ, въ неземномъ свѣтѣ лица. Жизнь подобного человѣка уже застрахована отъ всякихъ самопокушений. Что внутреннее блаженство такихъ людей не иллюзія, а фактъ, обѣ этомъ одинаково говорятъ и слова, и дѣла ихъ.

Макарій Великій, напр., говоритъ о душѣ человѣка, вступившаго въ неизреченное общеніе любви съ Богомъ, что все въ ней становится тогда свѣтомъ, все—радостю... все—веселіемъ, все—любовью... все подобнымъ Христу. Что можетъ быть лучше этого, если ваша душа вся, безъ остатка, сдѣлается любовью, какъ сундукъ, полный чистаго золота, какъ колье, сплошь составленное изъ настоящихъ, а не фальшивыхъ, жемчужинъ.

Пр. Павелъ Фивейскій около ста лѣтъ провелъ въ пустынѣ. На что это указывается? Могъ ли человѣкъ всеѣ сто лѣтъ гоняться за тѣнью, ловить призраки? Конечно, онъ въ себѣ самомъ носилъ сокровище, отъ сладости обладанія которымъ онъ отвергъ всѣ другія цѣнности.

Любовь человѣческая есть образъ любви Божественной. Счастливъ и тотъ, кто носитъ на груди портретъ любимаго; но сто-кратъ блаженнѣе тотъ, кто лобзаетъ въ самыя уста своего Воздобленнаго.

ЭПИЛОГЪ.

И такъ, стоитъ ли жить?

„Быть или не быть?“—

„Проклятый вопросъ“, волновавшій человѣка за многое множество вѣковъ еще до Шекспира и Гамлета и обострившійся особенно теперь, въ эпоху эпидемическихъ самоубийствъ, когда образуются даже лиги самоуничиженія и пессимизмъ † философа Гартмана начинаетъ, повидимому, воплощаться въ конкретныя формы.

Вотъ какъ, скажу сначала, отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, съ точки зрѣнія только физического стимула бытія, одинъ изъ цитированныхъ выше писателей.

„Уголь Невскаго и Литейнаго. Зима. Вечеръ. Оттенель.

„Влажный туманъ поднимается изъ земли и давить улицу. Сквозь его завѣсу не видно домовъ, но огромными голубыми и оранжевыми пятнами сіяютъ электрическіе фонари, багрово горятъ окна кинематографовъ, и вдругъ вырастаютъ золотые злобные глаза ревущихъ автомобилей. Пѣшеходы, экипажи, моторы, трамваи, мальчишки лавами вливаются въ этотъ перекрестокъ, задерживаются и кружатся въ немъ, какъ въ водоворотѣ и растекаются дальше. Шерсть на лошадяхъ вскучавлена и дымится. И надъ людьми колеблются испаренія.

„Какая толпа! Точно весь городъ безконечными лентами развертывается передъ глазами. Говоръ, смѣхъ, кашель, тошнота, звонки, окрики, гудки и безпрерывное, головокружительное движенье. Лишь въ самомъ центрѣ сутолоки, величественный и спокойный, какъ монументъ, диригируетъ толпою, при помощи своей бѣлой палочки, краснолицый и толстый городовой.

„...Трамвай останавливается, не доходя до перекрестка. Я вспоминаю о своей усталости и хочу сѣсть въ вагонъ, отдохнуть. Но, Боже мой, какая дикая, яростная орда осаждаетъ вагонные ступеньки! Угрожающе поднятые вверхъ локти, цѣпляющіеся пальцы, тѣснящіяся бедра, лица, искривленныя злостью и нетерпѣніемъ.

„Господа мужчины! Интеллигенты! Джелльтмены! Покровители слабыхъ!.. Вопроſъ всего въ пятакъ—не толкайте женщинъ, не давите дѣтей! Дамы! вы! украшеніе міра, лучшіе перла въ коронѣ Создателя, образъ ангеловъ на землѣ! Вообразите себѣ самихъ себя, лѣзущихъ на площадку съ мужествомъ и манерами пожарного солдата, стремящагося по лѣстницѣ въ огонь. Руки ваши растопырены врозь, шляпка на боку... Подумайте, съ какой грустью созерцаешь это зрѣлище случайный юноша прохожій—въ душѣ идеалистъ и романтикъ.

„Да не изъ чего было и ссориться. Вагонъ тронулся и посмотрите вѣсъ утряслись, умялись, разсѣлись, вѣсъ хватило мѣста“... И взглянуть автора благодушно перебѣгать съ одного лица на другое. Вотъ почтенная дама, съ очаровательнымъ мальчикомъ. „На немъ бѣлая шапочка и бѣлое пальто изъ мохнатаго блестящаго плюща. Такой прелестный бѣлый мѣдведяночекъ съ розовой мордочкой и умными

черными глазами“. Вот дѣвушка отъ портнихъ въ веснушкахъ и съ багажемъ, педагогъ, „страдающей давнишнимъ разстройствомъ печени.“ Тамъ сидитъ „толстый съдоусый отставной полковникъ“, барышня, берущая уроки музыки, два подрядчика, старушка, — любительница посугожничать, аптекарскій ученикъ, акушерка, супружеская чета; онъ — статистикъ, она — женщина-врачъ; оба въ ценсѣ. „Въ самомъ углу, слегка прислонившись къ стѣнкѣ, полузаクリвъ глаза, спрятавъ руки въ муфточку изъ сѣренъяго, шелковистаго шенилля, сидѣть дама или дѣвушка, съ милымъ-милымъ ласковымъ лицомъ, созданнымъ для улыбки счастья. А противъ нея златокудрый, румянощекій студентъ... И вотъ я вижу, какъ онъ и она певинно и невольно ищутъ взглядовъ другъ друга, встречаются на мигъ, точно нечаянно, глазами и сейчасъ же разбѣгаются, и опять сталкиваются, и опять уклоняются куда-то въ сторону“...

То, что каждый изъ насъ наблюдаетъ въ трамваѣ, повторяется, конечно, въ большемъ масштабѣ, и въ жизни. Наша земля — тоже трамвай, „несущійся по какой-то загадочной спирали въ вѣчность. Вагоновожатый впереди нея незримое никѣмъ, покорное своимъ таинственнымъ законамъ Время. Кондукторъ — Смерть.

„Синимъ билетамъ конецъ! — возглашаетъ судьба, просунувъ голову въ дверь.

„У меня какъ разъ синий. „Конецъ, такъ конецъ“, думаю я. И я выхожу изъ трамвая на улицу, въ туманъ, тьму и грязь.

„Милая барышня съ серебристой муфточкой!.. когда настанетъ конецъ вашему билету, ступайте безъ ропота въ темноту. Теперь васъ, навѣрно, дома ждеть обычный чай съ крендельками и надоѣвшія картины на стѣнахъ, разговоръ о театрѣ, о литературѣ, о сегодняшнихъ газетахъ. А тамъ, на главной станціи — почемъ знать? — можетъ быть, мы увилимъ сияющіе дворцы подъ вѣчнымъ небомъ, услышимъ нѣжную, сладкую музыку, насладимся ароматомъ невиданныхъ цветовъ. И все будемъ прекрасны, веселы, цѣломудренно-наги, чисты и преисполнены любви.

„Но обѣ одномъ умоляю: не сходите съ трамвая до полной остановки. Нерасчетливо, глупо и некрасиво“.

Этотъ разсказъ Куприна („Въ трамваѣ“) я рекомендовалъ

бы прочитать сполна всякому пессимистически настроенному юношѣ и барышнѣ.

Если одна физическая „сладость бытія“ заставляетъ съѣтскаго писателя преждевременно - произвольный уходъ съ трамвая жизни назвать „нерасчетливымъ, глупымъ и некрасивымъ“, то что сказать про тотъ же уходъ съ точки зрењія вѣры и любви, этихъ высшихъ цѣнностей, сладостей бытія?

Безумно, безнравственно, безбожно!

„Страна, гдѣ мы впервые вкусили сладость бытія“, въ широкомъ смыслѣ слова это—вся наша земля. Пусть для многихъ она оказывается юдолью скорби, „страной“ проклятия но наступить время, когда она будетъ и „страной“ благословенія. И тотъ, кто теперь отказывается дѣлить ея горести, уже не достоинъ будетъ раздѣлять ея радости, такъ какъ онъ отрекся отъ нея.

Но не будуть ли самоубийствомъ съ точки зрењія именно „сладости бытія“, такие акты добровольного отказа отъ жизни, какъ самоотверженіе врача, заражающагося чумной бациллой, воина, проливающаго кровь за отчество, самоотреченіе подвижника, мученическая смерть и т. д.? Нѣть, это не самоубийство! Здѣсь нѣть отвращенія, ненависти къ жизни, желанія заснуть навѣки. Здѣсь не отрицается жизнь, а, наоборотъ, утверждается, во первыхъ, въ отношеніи къ тѣмъ, за кого эта жертва приносится, а во вторыхъ, и въ тѣхъ, кѣмъ она приносится. Вѣдь, это высшая радость, высшее счастье, высшая любовь — „положить душу свою задруги своя“. Но этому, если жизнь, вообще говоря, прекраснѣе смерти, то смерть, какъ жертва любви, прекраснѣе жизни.

Свою лекцію я окончу слѣдующей картинкой. Передъ нами — гора. У подножія ея льется кровь за отчизну и свободу. Ступенью выше — врачи, заражающіеся тифомъ, холерой, чумой; сестры милосердія, перевязывающіе раны подъ градомъ боевыхъ снарядовъ; учёные, производящіе рискованные опыты и т. д. Подъ ними подвижники въ пещерахъ и затворахъ, на столпахъ и даже, какъ птицы, на вѣтвяхъ деревьевъ. А еще выше пишутъ костры, сжигающіе мучениковъ, скрипятъ зубчатыя колеса, дробящія ихъ кости, поднимаются и опускаются обагренные ихъ теплою кровью мечи... А выше всѣхъ, на самомъ темени горы, виденъ крестъ съ

распятой на немъ за весь міръ Божественной Любовью. Назовемъ ли эту гору — горой самоубийства и этотъ крестъ — хоругвию смерти? Нѣть, это — гора страждущей любви, а —

Этотъ крестъ, этотъ Агнецъ въ крови,
эта Жертва красы безконечной,—
высшій, символъ небесной любви,
знамя жизни и радости вѣчной.

ПРИЛОЖЕНИЕ *).

Въ литературѣ послѣдніхъ дней имѣются два произведенія, на которыхъ можно смотрѣть, какъ на протестъ противъ крайне поздорового извращенія инстинкта жизни, какъ на народію декадентствующаго отрицанія жизни во имя мнимо-вящей красоты смерти. Правда, смерть можетъ быть прекрасной, но не смерть самоубійцы, томящагося жизнью и мнюющаго отъ какихъ-то предвкушеній незаслуженнаго блаженства. Прекрасная, „вѣнчанная“ смерть, это — смерть героическая, которая является подвигомъ любви и совершается не во имя смерти самой по себѣ, а ради опять-таки жизни, какъ жертва, а не блажь.—Два произведенія, о которыхъ идетъ рѣчь и которыхъ по затронутой въ нихъ темѣ близко подходятъ къ предмету лекціи, суть: „Жизнь и смерть“ — И. Д. Боборыкина и „Сказка“ — М. Горькаго.

Первое изъ названныхъ произведеній — повѣсть Боборыкина: „Жизнь и Смерть“ **), выдвигаетъ двѣ пары: Радина и Елену, Кирова и Вѣру, два противоположные типа людей. Первая пара въ неясныхъ декадентскихъ поискахъ смысла жизни тяготѣеть къ смерти, другая хочетъ наслаждаться жизнью въ ея реальномъ видѣ. Авторъ, разумѣется, на сторонѣ второй пары. Настроение же первой пары, особенно Радина, какъ лидера упадочниковъ, онъ не прочь даже назвать „психопатическимъ“.

*) „Приложениемъ“ эта часть статьи названа потому, что она была написана послѣ прочтенія лекціи, такъ какъ и самыя произведенія Боборыкина и Горькаго которыхъ въ ней излагаются, напечатаны были позже 2 Дек.

**) Напечатана въ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложеніяхъ“ къ Нивѣ за 1912 годъ, въ октябрской (193—216 стр.), ноябрской (349—376 стр.) и декабрской (547—574 стр.) книжкахъ.

Характеренъ діалогъ Радина съ Еленой. Радинъ бесѣдуетъ о смерти:

— „Она одна не обманетъ! Въ ней одной—вѣчная красota, великая и непроницаемая тайна!

— „Что же это?“—наивно промолвила Елена, не понимая, о чёмъ онъ говоритъ.

— „Смерть—замедленно проговорилъ онъ.

— „Смерть? Но зачѣмъ вы призываєте ее въ эту минуту?“. Елена, почти влюбленная въ Радина, ждала отъ него словъ нѣжныхъ, ласкъ признанія, а онъ ей прощается о смерти!

— „Не страшиться ея надо“—продолжалъ Радинъ, а слѣдить къ нею всѣмъ своимъ существомъ.

— „Но я жить хочу, Климентъ Сергеичъ.

— „Это одно и то же. Но жизнь можетъ грязнить, а смерть никогда.“

Этотъ „любовникъ смерти“, какъ Боборыкинъ именуетъ Радина устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти, подарили Еленѣ изящный томикъ своихъ декадентскихъ стишковъ съ „посвященіемъ“, въ которомъ одновременно было: и признаніе въ любви, и призывъ къ „небытію“.

Елена, дотолѣ вся принадлежавшая миру виверка, или прожигательница жизни, какъ ее называетъ авторъ повѣсти, не можетъ понять такого страннаго настроенія поэта.

— „Зачѣмъ—спрашиваетъ она Радина: тутъ же, въ этомъ чудномъ... посвященіи—призываѣтъ къ небытію?

— „Зачѣмъ?—повторилъ онъ.—Но гдѣ же наши души могутъ слиться такъ всецѣло, какъ не тамъ... по ту сторону завѣсы вѣчности?...

— „Я не знаю,—промолвила Елена.

— „Любовь только вѣстникъ изъ того міра, гдѣ нѣть ни печали, ни вздоханія.

„Она почти испуганно взглянула на него и спросила:

— „Вы... развѣ не хотите жить?

— „Здѣсь, въ этой долинѣ скорби, мы только претерпѣваемъ существованіе. И какое блаженство... двумъ душамъ, которые долго искали одна другую, въ одинъ и тотъ же мигъ очутиться тамъ, гдѣ нѣть ни времени, ни пространства, а только несказанное блаженство“.

Говоря это, Радинъ какъ бы вошелъ въ трансъ: голосъ его дрожалъ, глаза закатывались и Еленъ отъ его вида сдѣжалось жутко.

Кировъ, которому Радинъ былъ противенъ всѣмъ своимъ существомъ, не только какъ соперникъ по любви къ Еленѣ, но и какъ декадентъ-психопатъ, увидѣлъ въ проповѣди смерти нѣчто анархическое.

— „Это—послѣдній крикъ умственной и нравственной анархіи“—предостерегаль онъ Елену.

— ... „Тутъ—что-то озарное, извращенное, или рисовка, подъ которой нѣтъ никакого содержанія, необузданная и психопатическая проповѣдь мертвчины, „нѣтовчины“, худшая секты „Морильщиковъ“ и, тѣмъ болѣе, буддійской нирваны“.

Кировъ, присутствовавший на чтеніи Радинымъ своихъ стиховъ, вступилъ въ полемику съ ненавистнымъ ему „психопатомъ“, чтобы освободить Елену изъ-подъ гипноза Радина.

Радинъ читалъ:— „Кто же изъ насъ не преклонится передъ Великой Искупительницей, которую жалкіе смертные, какъ подлые трусы, такъ страшатся и такъ клевещутъ на нее? И на мѣщанскій мелкожуирный кличъ: „Да здравствуетъ жизнь!“ — мы отвѣтимъ другимъ кличью: „Да здравствуетъ смерть!“

Это окончательно взбѣсило Кирова.

— „Что такое смерть, передъ которой вы такъ восторженъно преклоняетесь? Развѣ это особое существо?“—бросилъ онъ Радину...

Однако, изъ его диспута съ Радинымъ ничего не выпшло. Елена продолжала быть очарованною „психопатомъ“. Радинъ убѣдилъ ее развестись съ мужемъ и покончить самоубійствомъ вслѣдъ за нимъ, когда онъ, уйдя въ иной міръ будетъ звать ее оттуда словами поэта:

..Сердечный другъ, желанный другъ!

„Приди, приди!.. Я твой супругъ!“

Елена, действительно, вскорѣ получила депешу съ двустшиемъ, написаннымъ рукою Радина. Это означало, что Радинъ покончилъ съ собой и приглашаетъ теперь Елену слѣдовать за нимъ.

Бурная сцена разрыва съ мужемъ и особенно депеша такъ разстроили Елену, что она впала въ жестокую истерику. И она, можно думать, послѣдовала бы за Радинымъ,—такую

власть онъ приобрѣлъ надъ нею своимъ развѣнченіемъ жизни и воспѣваніемъ смерти,—если бы не Кировъ. Онъ далъ понять Еленѣ, что все это нелѣпо, дико, ущадочно; какъ все это полно больной блажи и совѣтъ даже не красиво.

Елена опомнилась. Что же касается послѣдняго изъ четырехъ названныхъ лицъ повѣсти—Вѣры, другой виверки, другой „прожигательницы жизни“ въ домѣ Подгурскихъ: то, несмотря ни на вѣнчанія достоинства этой женщины, ни на сходство, даже родство настроеній между нею и Кировымъ, она не могла его пѣнить собою, чего ей такъ хотѣлось. Ей оставалось лишь вмѣстѣ съ нимъ ухаживать за Еленой, спасать ее отъ психопата Радина для любимаго ею самою человѣка.

„Сказка“ *) М. Горькаго еще рѣзче подчеркиваетъ безсмыслие проповѣди „ухода изъ жизни“. Если къ первому изъ двухъ произведеній примѣнительно названіе *протеста* по характеру главнаго противника Радина-Кирова, то второе именно является *пародией*: такъ много здѣсь ироніи, сатиры и даже сарказма.

„Долго жилъ Евстигней Закивакинъ въ тихой скромности, въ робкой зависти и вдругъ неожиданно прославился.

„А случилось это такъ: однажды, послѣ роскошной пирушки, онъ истратилъ послѣднія свои шесть гривенъ и, проснувшись наутро въ тяжеломъ похмѣльѣ, весьма удрученный, сѣлъ за свою привычную работу: сочинять объявленіе въ стихахъ для „Анонимнаго бюро Похоронныхъ процессій“.

„Сѣлъ и, проливъ обильный потъ, убѣдительно написалъ:

„Бывать тебя по шеѣ или въ лобъ,—

„Все равно, ты ляжешь въ темный гробъ...

„Честный человѣкъ ты иль прохвость,—

„Все-таки оттащать на погостъ...

„Правду ли ты скажешь, иль совреши,—

„Это все едино: ты умрешь!..

„И такъ далѣе въ этомъ родѣ, аршина полтора“.

Свою работу Закивакинъ понесъ было въ „Бюро похоронныхъ процессій“, но тамъ отказали.

*) Напечатана въ одномъ изъ декабрскихъ № № „Русскаго Слова“ за 1912 г.

„Въ гибельномъ настроеніи духа ходитъ онъ по улицамъ и вдругъ видить: вывѣска, а на ней черными буквами по бѣлому полю сказаю:

„Жатва Смерти“.

— „Еще похоронное бюро, а я и не зналъ!—обрадовался Евстигней.

„Но оказалось, что это не бюро, а редакція новаго безпартийнаго и прогрессивнаго журнала для юношества и самообразованія. Закивакина ласково принялъ самъ редакторъ-издатель Мокей Говорухинъ, сынъ знаменитаго салотопа и мыловара Антипы Говорухина, парень жизнедѣятельный, хотя и худосочный.

„Посмотрѣлъ Мокей стишки,—одобрилъ;

— „Ваши, — говоритъ, — вдохновенія какъ-разъ то самое, еще ни кѣмъ не сказанное слово новой поэзіи, въ поиски за которымъ я и снарядился, подобно аргонавту Герострату...

„Конечно, все это онъ враль по внушенню странствующаго критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда враль, чѣмъ и создалъ себѣ громкое имя.

Въ редакціи Евстигнею повезло: стихи его были приняты, подъ условiemъ подписаны псевдонимомъ. Редакторъ предложилъ ему подписаться „Смертяшинскимъ“ ради стиля.

— „Все равно,—сказалъ Евстигней.—Мнѣ абы гонораръ получить: есть очень хочется...

„Онъ былъ парень простодушный.

„И черезъ иѣкоторое время стихи были напечатаны на первой страницѣ первой книги журнала, подъ заголовкомъ:

„Голосъ вѣчной правды“.

Евстигнея постигла слава поэта. Его стали расхваливать приглашать въ дома на свадьбы, похороны и поминки, печатать, читать, благодарить...

Да и самъ онъ сталъ назнаваться: вырядился, говорилъ томнымъ голосомъ, разводя глаза:

— „Ахъ, какъ это пошло—жизненно!“

Прочелъ заупокойную службу и сталъ употреблять разныя „мрачныя“ выраженія: „всye“ и пр.

Еще болѣе утверждали его въ самомнѣніи разныя критики, истощавшіе его „гонорарій“ и внушавшіе ему:

— „Углубляйся Евстигней, а мы поддержимъ.

„И, дѣйствительно, когда вышла книжка „Некрологи мечтаний и эпітафіи желаній, поэзы Евстигнея Смертяшкина“, то критики весьма благосклонно отмѣтили глубокую могильность настроений автора“.

На радостяхъ „Евстигнейка“ даже рѣшилъ жениться на нѣкоей Нимфодорѣ Завалышкиной.

„Она давно ожидала этого и, упавъ на грудь его, воркуетъ, разлагаясь отъ счастья:

— „Я согласна идти къ смерти рука-объ-руку съ тобою!

— „Обреченная уничтоженію!—воскликнулъ Евстигней.

„Нимфодора же, смертельно раненая страстью, отзывается:

— „Мой безслѣдно изчезающій!

„Но тотчасъ, вполнѣ возвратясь къ жизни, предложила:

— „Мы обязательно должны устроить сильный быть!

„Смертяшкинъ уже ко многому привыкъ и сразу соиялъ.

— „Я,— говоритъ,— конечно, недосыгаемо выше всѣхъ предразсудковъ, но если хочешь, давай обвѣнчаемся въ кладбищенской церкви!

— „Хочу ли? О, да! И пусть всѣ шафера тотчасъ послѣ свадьбы застрѣлятся!

— „Всѣ, пожалуй, не пойдутъ на это, а Кукинъ можетъ,— онъ уже семь разъ стрѣлялся.

— „И чтобы священникъ былъ ста-аренъкій, знаешь такой... наканунный смерти.

„Смертяшкинъ настолько воодушевился, что даже безъ особыго труда стихи сочинилъ и прошепталъ ихъ черными шопотомъ въ ухо будущему скелету возлюбленной:

„Чу, смерть стучить рукою честной

„По крышѣ гроба, точно въ бубень,

„Я слышу зовъ ея такъ ясно

„Сквозь пошлый хаосъ скучныхъ буденъ!

„Жизнь спорить съ нею, лживымъ кличемъ

„Зоветь людей къ своимъ обманамъ;

„Но мы съ тобой не увеличимъ

„Числа рабовъ, плѣненныхъ ею!

„Насъ не подкупишь ложью сладкой,

„Вѣдь, знаемъ мы съ тобою оба,

„Жизнь—только мигъ, больной и краткій,

„А смыслъ ея—подъ крышкой гроба!

— „Какъ мертвъ!—восхищалась Нимфодора.—Какъ тупомогильно!

„Она всѣ эти штуки превосходно понимала.

„На сороковой день послѣ этого они вѣнчались у Николы на Тычкѣ, въ старенькой церкви, тѣсно окруженнѣй самодовольными могилами переполненнаго кладбища. Ради стиля свидѣтельствъ брака подписались два могильщика, шаферами были завѣдомые кандидаты въ самоубійцы; въ подруги невѣста выбрала трехъ истеричекъ, изъ которыхъ одна уже вкушала укусую єссенцію, другія готовились къ этому, и одна дала честное слово покончить съ собою на девятый день послѣ свадьбы.

„А когда вышли на паперь, шаферъ, прыщеватый парень, изучавшій на себѣ дѣйствіе сальварсана, открывъ дверь кареты, мрачно сказалъ:

— „Вотъ катафалкъ!

„Новобрачная, въ бѣломъ платьѣ съ черными лентами и подъ черной фатой, умирала отъ восторга, а Смертяшкинъ влажными глазами оглядывая публику спрашивалъ шафера:

— „Репортеры есть?

— „И фотографъ...

— „Не шевелись, Нимфочка...

„Репортеры, изъ уваженія къ поэту, одѣлись факельщиками, а фотографъ—палачомъ, жители же,—имъ все равно, на что смотрѣть, было бы забавно,—жители одобряли:

— „Quel chic!

„И даже какой-то вѣчно голодашій мужичокъ согласился съ ними:

— „Charmant!

— „Да-а,—говорилъ Смертяшкинъ новобрачной за ужиномъ въ ресторанѣ, противъ кладбища:—мы прекрасно похоронили нашу юность! Вотъ именно это и называется побѣдой надъ жизнью!

— „Ты помнишь, что это все мои идеи?—спросила нѣжно Нимфодора.

— „Твои? Развѣ?

— „Конечно!

— „Ну... все равно:

„Я и ты—одна душа и тѣло!

„Мы съ тобой теперь навѣки слиты.

„Это смерть такъ мудро повелѣла,
„Мы—ея рабы и сателлиты...

Не смотря, однако, на такую „глубокую могильность“ настроенія супруговъ, не смотря на ихъ частыя конфликты, у нихъ родилось дитя—дѣвочка.

Люльку, по настоянію Нимфодоры, заказали въ видѣ гробика, чтобы публика и критика не могли упрекнуть поэта смерти въ раздвоеніи и неискренности.

Нимфодора оказалась дамой весьма хозяйственной: солила огурцы, собирала всѣ рецензіи о мужѣ, неодобрительныя уничтожая, а похвальные издавая отдельными томиками за счетъ почитателей поэта.

Съ хорошей пищи она стала женщиной дородной, возбуждавшей въ мужчинахъ роковую страсть, завела домашняго критика, съ которымъ читала стихи мужа.

„Тотъ первое время только мычалъ, а потомъ сталъ ежемѣсячно писать пламенныя статьи о Смертяшкинѣ, который „съ непостижимой углубленностью проникъ въ бездонность той черной тайны, которую мы, жалкіе, зовемъ Смертью“, а онъ полюбилъ чистой любовью прозрачнаго ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познаніемъ ужаса безцѣльности бытія, но претворила этотъ ужасъ въ тихую радость, въ сладостный призывъ къ уничтоженію той непрерывной пошлости, которую мы, слѣпныя души, именуемъ Жизнью“.

„При благосклонной помощи критики,—по убѣжденіямъ онъ былъ мистикъ и эстетъ, по фамиліи—Прохарчукъ, по профессіи—парикмахеръ,—Нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтенія стиховъ: выйдетъ онъ на эстраду, развернетъ колѣнки направо-налѣво, смотрить на жителей бѣлыми овечьими глазами и, покачивая угловатой головою, на которой росли разныя разности мочального цвѣта, безучастно вѣщаешь:

„Въ жизни мы—какъ-будто на вокзалѣ,
Предъ отѣздомъ въ темный міръ загробный...
Чѣмъ вы меныше чемодановъ взяли,
Тѣмъ для вѣсъ и легче, и удобнѣй!
Будемъ жить безсмысленно и просто.
Будь пустымъ, тогда и будешь чистымъ.

Кратокъ путь отъ ляльки до погоста!
Служить Смерть для жизни машинистомъ!..

— „Враво-о!—кричать вполнѣ удовлетворенные жители.—Спасибо-о!

— „А, можетъ, я и въ самомъ дѣлѣ—геній?—думаль Смертяшкинъ, слушая одобрительный ревъ жителей.—Вѣдь, никто не знаетъ, что такое геній; иѣкоторые утверждали же, будто геніи—полоумные... А если такъ...

„И при встрѣчѣ со знакомыми, сталъ спрашивать ихъ не о здоровье, а:

— „Когда умрете?

— „Чѣмъ и пріобрѣлъ еще большую популярность среди жителей.

„А жена устроила гостиную въ видѣ склепа: диванчики поставила зелененькие, въ стилѣ могильныхъ холмиковъ, а на стѣнахъ развѣсила снимки съ Гойя,—все съ Гойя, да еще и Бюргцъ!

„Хвастается:

— „У насъ даже въ дѣтской вѣяніе Смерти ощутимо: дѣти спятъ въ гробикахъ, няня одѣта схимицией,—знаете, такой черный сарафанъ, съ вышивками бѣлымъ—черепа, кости и прочее, очень интересно! Евстигней, покажи дамамъ дѣтскую! А мы, господа, пойдемте въ спальню...

„И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни: надъ кроватью, въ формѣ саркофага, черный балдахинъ, съ серебряной бахромой: поддерживали его выточенные изъ дуба черепа; орнаментъ—маленькие скелетики играютъ могильными червяками.

— „Евстигней,—объясняла она, такъ поглощенъ своей идеей, что даже спить въ саванѣ...

Евстигней, однако, скоро понялъ, что изъ всего этого выходитъ. Пока онъ писалъ стихи о сладости смерти и горечи жизни, его Нимфодора любезничала съ критикомъ, наставляя ему длинные рога.

— „Какъ это правильно сказано, что для женщинъ и лакеевъ нѣть великихъ людей!“—печально думаль Смертяшинъ.

Подъ вліяніемъ такихъ размышеній, изъ-подъ его пера начали выходить стихи иного настроения.

„Сколько пошлостей и вадора
Написаль я, Нимфодора,
Ради тряпокъ, ради шубокъ,
Ряди шляпокъ, кружевъ, юбокъ“.

Его удерживали дѣти, которыхъ было трое.

Ихъ надо было одѣвать въ черный бархать; каждый день, въ десять часовъ утра, къ крыльцу подавали изящный катафалкъ, и они тѣхали гулять на кладбище,—все это требовало денегъ.
„И Смертяшкинъ уныло выводилъ строка за строкой:

„Всюду жирный трупный запахъ
Смерть надъ міромъ пролила.
Жизнь въ ея костлявыхъ лапахъ,
Какъ овца въ когтяхъ орла.

— „Видишь ли, что, Стегнышко,—любовно говорила Нимфодора. Это не совсѣмъ... какъ тебѣ сказать? Какъ надо сказать, Мася?

--- „Это—не твое, Евстигней!—говорилъ Прохарчукъ басомъ и съ полнымъ знаніемъ дѣла.—Ты—авторъ „Гимновъ смерти“, и пиши гимны...“

— „Но это же новый этапъ моихъ переживаний!—возвра-
жалъ Смертяшкинъ.

— „Ну, милый, ну, какія переживанія?—убѣждала жена.—
Надобно въ Ялтуѣхать, а ты чудиши!

— „Чомни,—гробовымъ тономъ внушалъ Прохарчукъ.—
что ты обѣщаешь.

„Прославить смерти власть
Беззлобно и покорно...“

„Однажды Смертяшкинъ, глядя, какъ его пятилѣтняя до-
чурка Лиза гуляетъ въ саду, написаль:

„Маленькая дѣвочка ходить среди сада.
Бѣленъкая ручка дерзко рвать цвѣты...
Маленькая дѣвочка, рвать цвѣты не надо.
Вѣдь они такие же хорошие, какъ ты!
Маленькая дѣвочка! Черная, нѣмая
За тобою слѣдомъ тихо смерть идетъ,
Ты къ землѣ наклонишься, косу поднимая,
Смерть оскалить зубы и смеется, ждетъ...
Маленькая дѣвочка! Смерть и ты, какъ сестры.
Ты ненужно губиши яркие цвѣты,

- А она косою острой, вѣчно острой.
Убиваешь дѣтокъ, воть такихъ, какъ ты...
- „Но это же сентиментально, Евстигней,—негодуя, крикнула Нимфодора.—Помилуй, куда ты идешь? Что ты дѣлаешь съ твоимъ талантомъ?
— „Не хочу я больше— мрачно заявилъ Смертяшинъ.
— „Чего не хочешь?
— „Этого. Смерть, смерть,—довольно! Миѣ противно слово самое.
— Извини меня, но ты—дуракъ!
— „Цускай! Никому неизвѣстно, что такое геній! А я больше не могу... Къ чорту могильность и все это... Я—человѣкъ...
— „Ахъ, воть какъ?—пронически воскликнула Нимфодора Ты—только человѣкъ?
— „Да. И люблю живое...
— „Но современная критика доказала, что поэтъ не долженъ считаться съ жизнью и вообще съ пошлостью!
— „Критика?—заораль Смертяшинъ.—Молчи, безстыдная женщина! Я видѣлъ, какъ современная критика пѣловала тебя въ прихожей за шкаломъ!
— „Это отъ восхищенія твоими же стихами!
— „А дѣти у насъ рыжія, тоже отъ восхищенія?
— „Пошлиакъ! Это можетъ быть результатомъ чисто-интеллигентуального вліянія!
— „И вдругъ, упавъ въ кресло, она заявила:
— „Ахъ, я не могу больше жить съ тобой!
— „Евстигнейка и обрадовался, и въ то же время иснугалася.
— „Не можешь?—съ надеждой спросилъ онъ и со страхомъ.—А дѣти?
— „Пополамъ!
— „Троихъ-то?
„Но она стояла на своемъ. Потомъ пришелъ Прохарчунъ. Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ огорчился и укоризненно сказалъ Евстигнейкѣ:
— „Я думалъ, ты—большой человѣкъ, а ты—просто маленький мужчина!
„И пошелъ собирать Нимфодорины шляпки. А пока онъ мрачно занялся этимъ, она говорила мужу правду:

— „Ты выдохся, жалкій человѣкъ. У тебя нѣть больше ни таланта, ничего. Слышиши: ни-чѣ-го!

„Захлебнулась слюной честнаго негодованія и докончила:

— „У тебя и не было ничего, никогда! Если бы не я и Прохарчукъ,—ты такъ всю жизнь и писалъ бы объявленія въ стихахъ, слизнякъ! Негодяй, изломавшій мою жизнь, похититель юности и красоты моей...

„Она всегда въ моменты возбужденія становилась очень краснорѣчива.

„Такъ и ушла она, а вскорѣ, подъ руководствомъ и при фактическомъ участіи Прохарчука, открыла „Институтъ красоты т-те Жизанъ изъ Парижа. Спеціальность—коренное уничтоженіе мозолей“.

„Прохарчукъ же, разумѣется, напечаталъ разносную статью: „Мрачный миражъ“, обстоятельно доказавъ, что у Евстигнея не только не было таланта, но что, вообще, можно сомнѣваться, существовалъ ли таковой поэтъ. Если же существовалъ, и публика признавала его, то это—вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики.

„А Евстигнейка потосковалъ, потосковаль, и,—русскій человѣкъ быстро утѣшается!—видить: дѣтей кормить надо!

„Махнулъ рукой на прошлое, на всю смертельную поэзію, да и занялся старымъ, знакомымъ дѣломъ: веселыя объявленія для „Нового похороннаго бюро“ пишетъ, убѣждая жителей:

„Долго, сладостно и ярко

„На землѣ мы любимъ жить,

„Но придется однажды Парка

„И обрѣжь жизни нѣть!

„Обсудивши этотъ случай,

„Не спѣша, со всѣхъ сторонъ,

„Предлагаемъ самый лучшій

„Матерьяль для похоронъ!

„Все у насъ вполнѣ блестящe,

„Не истерто, не старо:

„Заходите же почаше

„Въ наше „Новое бюро“!

„Такъ всѣ и возвратились на стези своя“.

И сколько подобныхъ „психопатовъ“—Радныхъ или рогатыхъ „дураковъ“—Смертяшкінъ расплодилось отъ того, что пресыщенные жизнью люди стали находить какую-то прелестъ въ самой смерти, какъ мухи—въ мышьякѣ! Они забыли, что мудрѣйший царь Соломонъ, испытавъ до кончины утѣхи земнага, признался:

— Суета суетъ,—все суета!

Лишь одно, впрочемъ, не „суетно“, не можетъ надѣяться, не способно повергнуть въ горечь отчаянія, въ пессамизмъ смерти,—это осталоющееся постоянно сладкимъ, умѣренное пользованіе всѣми благами при чистой совѣсти, при вѣрѣ въ Бога и любви (Еккл. III, 12 и дрр.=Дн. II, 44—47 и подд.).

A. Туберовскій.
